

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

Россия, Москва.
Российский институт культурологии.
Старший научный сотрудник. Кандидат культурологии.Russia, Moscow.
Russian Institute for Cultural Research, Senior Researcher.
PhD in Cultural Science.allyus1@gmail.com

ГЕНИЙ МЕСТА И ГЕНИЙ ТЕКСТА

ОПЫТ НАРРАЦИИ ОДНОГО ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Каждый локальный текст культуры имеет свою иерархию «гениев места», корректируемую глобальным «вкусом» текста. Текстологическая концепция культуры автора — культуры как суммы и системы локальных текстов — преломляется в сюжете последовательного участия автора в четырех конференциях на юге России и в Крыму. Основным из словарей самоописания становится словарь Даля, философия имени дополняется семиотической мутацией.

Ключевые слова: локальный текст, кинотекст, визуальность, медиа, топос, семиотические мутации, дискурс, гламур

Genius of the Place and Genius of the Text
Experience of a Narration of one Textual Existence

Each local text of a culture is arranged in the form of a “geniuses of the place” hierarchy -, the korrektrirumy or global “taste” of the text. The textual concept of the author’s culture — culture, meaning the sum total and systems of the local texts — is refracted in a plotting of the consecutive participation of the author in four conferences in southern Russia and the Crimea. Dahl’s dictionary becomes the basis, from dictionaries of self-description; the philosophy of a name is supplemented with a semiotics mutation.

Key words: local text, film text, visualization, media, top wasps, semiotics mutations, discourse, glamour

Заявленная в названии данных заметок дихотомия двух «гениев» отчасти соответствует установленной И. Кантом и позднее переосмысленной Х.-Г. Гадамером взаимосвязи вкуса и гения: «Искусство гения состоит в том, что он делает “сообщаемой” свободную игру познаваемых способностей, отсюда вытекают и эстетические идеи, которые он открывает. Но сообщаемость душевного состояния, настроения, обозначает и эстетическое удовольствие вкуса, который представляет способность суждения, то есть является вкусом рефлектирующим, но объект его рефлексии — это опять-таки то душевное состояние оживления познавательных способностей, которое в равной мере проявляется как в прекрасной природе, так и в прекрасном искусстве. Следовательно, значение понятия гения систематически ограничивается особым случаем прекрасного в искусстве, в то время как понятие вкуса, напротив, универсально»¹. Каждый локальный текст культуры имеет свою иерархию «гениев места», корректируемую глобальным «вкусом» текста. В когнитивно-прагматических условиях такого диалога нарратив — «это множественность смыслов, «реализуемых говорящими для достижения коллективной макроинтенции на основе интертекстуальной конгломерации локальных ментальностей, это

дискурсивный способ конструирования события и компонент коллективной макростратегии»².

**Сетевые комары:
локализация имени-отчества**

«Вот и лето прошло... Только этого мало!». В столь редуцированном виде известное стихотворение Арсения Тарковского воспринимается не как констатация очевидных вещей, а как руководство к практическому действию. К счастью, вошедшая в повседневность глокализация, точнее, процесс концептуализации локальных текстов культуры (текстуальная революция!), к чему я оказался в последние годы причастен, позволил прошлое (2012 года) лето существенно продлить.

Сначала я отправился в Таганрог (кстати сказать, место реинкарнации, или даже — смерти?) моего некогда царствовавшего полного тезки, несправедливо охарактеризованного поэтом как «властитель слабый и лукавый») на организованную Российским институтом культурологии и Таганрогским государственным пединститутом конференцию «Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых тен-

¹ Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М., 1988. С. 97.

² Олешков М. Ю. Дискурс и текст: нарративная интеграция смыслов // Дискурс, текст, когниция: коллективная монография / Отв. ред. М. Ю. Олешков. — Нижний Тагил, 2010. (Серия «Язык и дискурс». Вып. 2). С. 50.



НАРРАТИВНЫЙ ПОВОРОТ / NARRATIVE TURN

ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Гений места и гений текста |

денций». Следует, впрочем, отметить, что в Таганрог царь прибыл сразу же после основательного знакомства с крымскими достопримечательностями, у меня же получилось наоборот.

Избранный автором этих строк жанр не позволяет охватить всю проблематику конференции, сосредоточившись на своей персональной локальности. Тема моего доклада — «Невидимый оператор: о медиасоставляющей локального текста культуры». Восстанавливая вытесненные в подсознание Петра I таганрогские дискурсы, открытый мной в сети местный исследователь Юрий Пушкин-Гриленкопф указывает на связь идей, проявившихся при создании Троицкой крепости и большой морской гавани для нового флота на Таганьем Рогу, с идеями крестовых походов и «нового Иерусалима». «Забытый Богом городишко», Таганрог второй раз в своей истории становится по настоящему «столичным», когда в нём поселяется император Александр I, хрестоматийный образ которого — Император-Триумфатор — всё больше и больше затемняется негативным образом «царя/человека, потерявшего путь»³. К сожалению, в начале 2012 года загадочный таганрогский Пушкин безвременно ушел из жизни. Никто из организаторов о нем ничего не слышал. Но само понятие «Таганрогский текст» было воспринято слушателями вполне благосклонно.

Таганрог — город компактный. Основные музеи — в пределах досягаемости. Чеховский бренд обороты набирает повсеместно. В необычном запустении оказалась... кабинка для переодевания на пляже, с густой паутиной по углам, основное население которой составляли все же отнюдь не пауки, а комары — наглядное уточнение образа «негативной» вечности от Достоевского к Чехову, и в то же время — лучший символ современной медиареальности.

Среди литературных мотивов, связывающих творчество двух писателей, для А. Ковача, несомненный интерес представляет мотив *тюрьмы-действительности*. Построенный на топосе *закрытого пространства*, с огромной силой выявляющего всю противобестественность положения человека, лишённого самого необходимого для жизни — свободы, этот мотив развёрнут в «Записках из Мёртвого дома» (1861) и в чеховском рассказе «Палата номер шесть» (1894). Еще один общий для двух писателей мотив, на который до сих пор не обращали внимания, — это мотив *будущего идеального общества*, которое воплощается у Достоевского в картине *золотого века*, а у Чехова в образе нового города — *города солнца*. «В рассказе Достоевского «Сон смешного человека» (1878) современному обществу, в котором человек попадает под власть отчуждения и эгоизма, противопоставлена утопия, мир людей золотого века, живущих в братстве, не знающих слов «моё» и «твое»... Этот мир разрушается из-за лжи, зависти, преступления, которые приносит им герой-повествователь, представитель современной цивилизации, и мы опять попадаем в условия европейского общества эпохи Достоевского. Картина золотого века призвана доказать возможность создания нового мира, основанного на всеобщем братстве и любви; именно в этом смысле Достоевский испол-

зует утопический образ-мотив золотого века, переключаясь с Сен-Симоном («Золотой век, который слепое предание отыскивало в прошлом, — впереди нас»), но переосмысливает его, практически создавая новый образ-мотив. Мотив города, повёрнутый Достоевским — в том числе и в романе «Братья Карамазовы» — к ипостаси счастливого будущего, в прозе Чехова широко развёрнут в виде *мечты* героев. В ярко оригинальной форме обе эти ипостаси мотива развёрнуты у Чехова, не только в «Рассказе старшего садовника», но и в целом ряде произведений последнего периода. Так, в рассказе «Невеста» (1904), в контексте таких повторяющихся мотивов, как *серая грешная жизнь, действительность-тюрьма, старый город, жизнь за счёт других*, возникает перспектива *будущего*, ради которого стоит *учиться, перевернуть жизнь*, вступить на широкую *дорогу свободы*: «Только просвещённые и святые люди интересны, только они и нужны, — говорит *странный, наивный*, но неудержимо привлекательный своими *прекрасными* во всей их *нелепости* идеями (и этим так напоминающий Князя Мышкина) «вечный студент» Саша. — Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего города тогда мало по малу не останется камня на камне, — всё полетит вверх дном, всё изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет верить и каждый будет знать, для чего он живёт, и ни один не будет искать опоры в толпе»⁴.

Видимо, при этом можно говорить не только о параллелизме, но и о генетической связи, о прямой переключке / полемике Чехова с Достоевским, а также одновременно — и отчасти однопространственно — и о связывающих, и противопоставляющих их друг другу мотивах психологического раздвоения. Используя этот разработанный Достоевским приём и создавая на его основе новый, Чехов раскрывает свой идейный мир, отличный от мира его предшественника. Если у Достоевского вопросы бытия решаются именно «идеологически», то у Чехова они ставятся только в формах жизни, в сфере онтологии.

Эта метафизика бросила субъект в заточение, заключив его в его «самости». Словно сквозь бойницы тюремного замка, каморки — или даже пляжной кабинки — субъект смотрит на черное небо с восходящей на нем звездой идеи или бытия. Согласно Т. Адорно, подлинная, т. е. «негативная», диалектика вызывается к жизни нежеланием мышления удовлетворяться своими собственными закономерностями и одновременно его способностью мыслить против самого себя, не отказываясь, однако, от самого себя. Диалектика, рефлексивная над собственным движением, является, в отличие от гегелевской, по настоящему негативной. У Гегеля тождественность совпала с позитивностью, а включение всего нетождественного и объективного в расширенный субъект, возвышенный до уровня абсолютного духа, должно было вызвать примирение противоположностей⁵. Но именно принцип тождества увековечивал

³ Люсьи́й А. П. Невидимый оператор: о медиасоставляющей локального текста культуры // Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций / Отв. Редакторы К. Э. Разлогов и А. В. Федоров. М.: Российский институт культурологии, 2012. С. 119.

⁴ Ковач А. Опыты сравнительной поэтики // Голоса Сибири. Литературный альманах. Вып. 8. Кемерово, 2008. С. 438–439.

⁵ Пигалев А. И. Негативная диалектика // История философии. Энциклопедия. Минск, 2002.



НАРРАТИВНЫЙ ПОВОРОТ / NARRATIVE TURN

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Гений места и гений текста |

антагонизм посредством подавления всего противоречащего такому духу.

Фамильные мутации

Моя личная текстологическая диалектика при этом развивалась вполне позитивно, на фоне поистине триумфального шествия текстуальной революции по просторам России, в которых она уже не помещается, захватывая и Украину (так что пора образовывать Текстологическую федерацию, как подсказал мне позже это словосочетание зав. отделом славянских литератур Института литературы Национальной Академии наук Украины П. В. Михед, — в параллель Таможенному союзу). После Таганрога я в обществе директора РИК К. Э. Разлогова и ученого секретаря Н. А. Кочеляевой оправился в Новороссийск, в урочище Широкая Балка, где по случаю образования южного филиала РИК состоялись две конференции по культуре народов юга России.

«Имя, — писал А. Ф. Лосев в «Философии имени», — есть та смысловая стихия, которая мощно движет неразличимую Бездну к Числу, Число к Эйдосу, Эйдос к Символу и Мифу. Она — цель для всех этих моментов сущности, и только в свете имени понятным делается окончательное направление и смысл всей диалектики сущности. Но Имя есть также та смысловая стихия, которая мощно движет мертвым Телом на путях к Раздражению и Ощущению, к растительному и животному Организму, а Организм к Мысли, Воле и Чувству; оно, наконец, есть и та сила, которая ведет Интеллигенцию к Сверх-Интеллигенции, к Гипер-Ноэзису, к Экстазу умному»⁶. Напомним, что *интеллигенция* в лосевском, отвлеченно-философском смысле — это «самосоотнесенность, самосозерцательность, адекватная самоданность»⁷ смысла, единство сознания и познаваемых предметов, мышления и мыслимого содержания, разумного мироустройства и чистой духовности, получающей умственное и эстетическое удовольствие как от познания разумности мира, так и самосознания. Для меня эта часть поездки оказалась перемещением из пространства «династического» имени-отчества в пространство фамильных истоков. На Кубани между Темрюком и станицей Анапская моя «редкая» фамилия — аналог если не «Ивановых», то «Петровых» точно.

«У меня нет больше самости, которая могла бы иметь смысл. Нет мира, в котором я могу представить себя живым, поскольку нет словаря, в котором я могу представить себя живым, поскольку нет словаря, в котором я мог рассказать связную историю о самом себе», — интерпретировал Р. Рорти сущность воображаемого полного и окончательного «лингвистического поворота» в романе Д. Оруэлла «1984»⁸. Но у меня такой словарь всегда под рукой. Согласно словарю В. Даля, есть несколько лингво-географических полюсов происхождения этой фамилии — амбивалентно-трансгрессивный пензенский, евразийско-физиономический владимирский и безусловно позитивный вологодский. «*люсить* пенз. хитрить в деле; лукавить, обманывать; натягивать, жилить в свою пользу; не решаться, пятиться, отрекаясь от слова. *Люсить* или *люсать* бумагу, на заводе: после отжимки черпальной бумаги, с про-

кладкою сукна, ее разбирают по листу, складывают без сукна под гнет, и снова отжимают, иногда в картоне. *Люса* и *люсма* об. кто *люсит*; плут, виляла, крючок, жила, обманщик. *Люсо?* нареч. вологодск. ладно, изрядно, гоже, живет. *Люсавый*, влад. у кого приплюснутый нос?»⁹.

«Всякое бытие, выражающееся в имени существительном, — утверждал в «Философии имени» С. Булгаков, — может быть проецировано на экране пространственности во всяких соединениях. Конечно, фактически не все языки одинаково выработаны и гибки для этой цели и употребляют одинаково простые средства. Однако, в общем, можно сказать, что помощью падежной флексии и предлога могут быть выражаемы всевозможные оттенки пространственности. Мысль становится пространственной. То, для чего Кант измышлял неуклюжие и в высшей степени сомнительные «схемы чистого рассудка», о чем он хлопотал с этим своим «схематизмом», язык с гениальной верностью инстинкта разрешает — в склонении (ибо и употребление местных и иных предлогов относится в широком смысле к склонению, — да и фактически в языках «аналитических» или склоняющихся по этому типу, как французский и английский, флексивное склонение заменяется употреблением предлогов или, что то же, предлог играет роль флексии). Можно рассматривать предлоги как иррегулярные флексии, которые лишь тем отличаются от обычных, что имеют кроме того и самостоятельное, хотя, впрочем, тоже весьма неполное существование. Разные оттенки пространственности предлоги придают не только существительным или прилагательным, вообще склоняемым частям речи, но и глаголам — в качестве приставок. Здесь роль предлогов для выражения пространственности по-своему столь же велика, как и в склонении. Было бы необыкновенно поучительно подвергнуть такому гносеологически-грамматическому анализу, хотя бы для какого-либо одного языка, средства для выражения «обстоятельства места» или пространственности, — какие чудесные богатства открылись бы перед умственным взором. Самое же главное — это богатство есть такое громовое свидетельство относительно пространственной окрашенности нашей мысли (каковая, конечно, издревле и замечалась), что нужно лишь умело дешифровать эти показания конкретной гносеологии — грамматики»¹⁰.

Если расположить описанные В. Далем значения фамилии на карте, получается, что при движении с севера на юг, описанного поэтическим Колумбом Крыма С. С. Бобровым как «Рассвет полночи», фамилия, насыщаясь новыми смыслами, в частности, текстопроизводственными, скорее «портилась», чем расцветала. Однако для С. Булгакова первична именно грамматика, а не география, что вполне вдохновляет автора: «Наречие, которое в настоящее время представляет собою, бесспорно, самостоятельную часть речи и грамматическую категорию, в своем историческом происхождении является довольно поздно и возникает вследствие утраты данным словом самостоятельного своего значения во фразе и полноты своего смысла, и сращения, в качестве дополнительного смысла или полутона, с одним из слов, входящих в предложение. Наречия образуются или из прилагательных, игравших роль определе-

⁶ Лосев А. Ф. *Философия имени*. М., 2009. С. 151–152.

⁷ Лосев А. Ф. *Форма. Стиль. Выражение*. М., 1995. С. 22.

⁸ Рорти Р. *Случайность, ирония, солидарность*. М., 1996. С. 228.

⁹ Даль В. И. *Толковый словарь живого великорусского языка*. Т. 2. И-О. СПб. — М., 1881. С. 285.

¹⁰ Булгаков С. *Философия имени*. Париж, 1953. С. 94.



НАРРАТИВНЫЙ ПОВОРОТ / NARRATIVE TURN

ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Гений места и гений текста |

ния, или из глагольных прилагательных — причастий, которые заменяются деепричастными формами. Их значение может быть понято только из связи их с тем словом или смыслом, к которому они присоединились, и иной самостоятельной природы они не имеют. Поэтому, с точки зрения интересующего нас различия, наречия выражают собой модальность сказуемого и потому входят в общую категорию предикативности, являясь для нее средством¹¹. Также возможна связь прозвища «Люсый» с украинским диалектным словом «люза» — «большое судно для перевозки мелкого леса», так что Люзым (Люсым) могли прозвать работника, обслуживающего люзу, что соотносится с сегодняшним паромным курсированием между Крымом и Таманским полуостровом.

Как писал Илья Сельвинский, поэт с исторически сложившейся двойной, крымской и кубанской, идентичностью, экспонаты первой выставки которого в Симферополе мне когда-то пришлось перевозить из Москвы, «Когда в кавказском кавполку я вижу казака // На белоногом скакуне гнедого косяка...» Рыбак (отнюдь не риторическая фигура в этих местах), как и казак, рыбака (казака) видит издалека. «Люсый? — переспросил краснодарский философ Василий Гриценко при нашем очном знакомстве, тут же уверенно констатируя: «Крымский текст!».

— Семиотическая мутация! — аналогичным образом возвратил я ему его фирменный концепт.

Любой локальный текст культуры развивается по схеме «вызова-и-ответа» — «имперского» вызова и местного ответа, в процессе чего и происходит эта самая семиотическая мутация, рождение новых сверхсущностей. Но продемонстрировалась эта схема здесь на материале не Крымского, а Кавказского текста. Кавказ — место действия античных мифов, которые удивительным образом совпадают со структурой Кавказского текста в русской культуре. Тезей и Ясон — путники, покинувшие родину в поисках чего-то не хватающего дома. Аналогичная потребность движет судьбой ключевого и сквозного для Кавказского текста образа Кавказского пленника.

Кавказ в русской литературе «открыли» романтики в первой половине XIX века. В основе эстетико-философской концепции романтизма лежит идея единства универсума, в глубинных основах основанная на сложных связях культуры романтизма с философскими и эзотерическими исканиями своего времени. Кавказ стал для русской культуры еще одним, но не прямым, а опосредованным «окном в Европу». Для русского, стремящегося проверить Кавказом, что он сам собою представляет, Кавказ есть вызов, возможность «очищения», слома рутины прежней жизни. Главный горский персонаж этого русского восприятия — разбойник, одинокий всадник, свободный охотник, друг-враг, встреченный на горной тропе, чей неочевидный силуэт заставляет напрячь все силы и отвечать, кто есть ты сам. Этот разбойник — в чем-то почти учитель.

Кавказский текст Пушкина европецентричен. Толстой же в «Хаджи-Мурате» (как и в «Казаках») переводит противопоставление «цивилизация — дикость» в противопоставление «естественное — искусственное». Весьма актуальное у Пушкина противопоставление Запада и Востока у него снимается во-

обще. Оба они при этом черпают из одного источника — идей Просвещения, но извлекают разную «пищу». Позиция Толстого восходит к идеям Руссо, а не Вольтера, как у Пушкина. В этом контексте цивилизация может переосмысливаться уже как отрицательное явление, противоположность «естественности», а не «дикости». Но противопоставление «естественное — искусственное» затрагивает прежде всего человеческую личность, а не отдельные социальные институты. «Хаджи Мурат» и «Путешествие в Арзрум» противопоставлены между собой так же, как противопоставлены «Кавказский пленник» Толстого и «Кавказский пленник» Пушкина: это противопоставление внешней и внутренней перспективы. В одном случае (у Пушкина) Кавказ показан глазами постороннего наблюдателя, посетившего эту страну, — как обобщенная картина, в другом случае (у Толстого) он показан изнутри. Это противопоставление аналогично противопоставлению прямой и обратной перспективы: Пушкин ведет повествование в прямой перспективе, а Толстой — в обратной. Получается диалог по принципу вызова и ответа с инверсией известной шпенглеровской дихотомии — на цивилизаторский вызов следует ответ подлинной культуры диалога. Происходит освобождение Кавказского пленника от цивилизаторской миссии.

Кавказ же ответил своим освобождением от «плененной» России собственным западным вектором в прямом варианте Грузии и опосредованном (через Турцию) Азербайджана, с превращением в России образа романтического «горца» в «лицо кавказской национальности и «медизацией» конфликта. Это подразумевает поиск новых путей культурного диалога.

К месту рождения и самолечения

Из пространства фамилии открылась дорога в пространство физического рождения и последующих биографических локальностей, таких как детство, отрочество, юность. Появление на свет состоялось в бывшей столице Крыма, высшего топонимического выражения крымской политической субъектности — Бахчисарае (ось «Москва — Бахчисарай» была одной из определяющей в системе международных отношений XV–XVI вв.). Детство — в селе Партизанское, как было переименовано древнее, еще дотюркского происхождения селение Мангуш, отрочество — в поселке Азовское (каковым стал уже крымскотатарский Калай), юность — в Симферополе. Крымский же текст «родился» уже в Москве, как, кстати сказать, и Петербургский.

Стоит ли Крымский текст — Крыма как такового? При любом ответе на этот вопрос, переворачивающий соотношения «Парижа и бедни», я оказался своеобразным олицетворением особенностей современной гуманитарной экономики с ее символическими обменами (и «смертями» в тексте). Для того, чтобы сформулировать в общих чертах и запустить концепцию, или по крайней мере — концепт Крымского текста, в оборот научной жизни России, Украины и Европы, с ее Первой мировой Крымской семантической войной, подразумевающей современные концептуальные «Антанту» и «Тройственный союз», Крым мне пришлось — покинуть. Теперь первый раз въезжаю на родину через Керченский пролив на ночном автобусе (уже самостоятельно, коллеги уехали по другому маршруту). Пограничник просит назвать хотя бы один крымский адрес, и я спротонок вспоминаю — турбаза имени Мокроусова (руководителя

¹¹ Булгаков С. Философия имени. Париж, 1953. С. 79.



НАРРАТИВНЫЙ ПОВОРОТ / NARRATIVE TURN

ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Гений места и гений текста |

партизанского движения и в гражданскую, и в Великую Отечественную войну).

Таможенник, при «просвечивании» чемодана, интересуется, что за книги я везу.

— «Поэтика предвосхищения» — честно признаюсь я, не скрывая и своего авторства. Ранее, при двойном транзитном пересечении поездом Москва — Таганрог украинской границы, на вопрос о наличии каких-либо лекарств с собой (что-то новое!), я предпочел соврать: «Нет, только леденцы...».

«Бесспорно, — читаю в пути статью А. Сыродеевой “Локальность и современники”, — обретаемая постмодернистским человеком гибкость в определенной мере коррелирует с независимостью личности, ее свободой от давления и жесткой регламентации со стороны всевозможного рода авторитетов. И в этом отношении Бауман, думается, подпишется под каждым словом Рорти. Вместе с тем, озадачив себя вопросом: что представляет собой «тень», отбрасываемая триумфально шествующей локальностью, — Бауман чуть ускоряет темп сменяющих друг друга кадров-идентификаций. В результате такого приема выкристаллизовываются гротескные типажи прогуливающегося (*stroller*), бродяги (*vagabond*), туриста, игрока. Рисуя (чуть карикатурно) их образы, Бауман демонстрирует, что параллельно с обретением немалой мобильности, самодостаточности эти типажи фактически лишены местной укорененности, человеческой привязанности. Они предпочитают расширяющееся пространство своего движения месту, с которым отождествляли бы себя, и людям, за которых несли бы ответственность»¹².

Минюя Керчь, и, нельзя объять необъятное, Волошинский фестиваль в Коктебеле, Гриновские чтения в Феодосии и Шмелевскую ассамблею в Алуште (упомянутый текст «работает» теперь в Крыму повсеместно, за всем не угнаться), я прибыл через Симферополь в Саки, чтобы стать участником XI-го Международного симпозиума «Русский вектор в мировой литературе: крымский контекст».

«Был в Крыму, где пачкался в минеральных грязях», — писал в 15.07.1835 Н. В. Гоголь В. А. Василию Жуковскому, имея в виду пребывание в Саках¹³. О лечебных свойствах местности упоминали когда-то Гай Плиний Старший и Клавдий Птолемей. В 1854 году здесь начался опыт радикального геополитического лечения — этот берег стал местом высадки союзников входе Крымской войны.

Не подтверждение ли это ранее высказанной мной идеи, что и по части дисциплинарных пространств, параллельных «опричным» пространствам бегства, Крымский текст русской литературы генетически является южным полюсом Петербургского текста?

По примеру Гоголя, продвинутые сакчане по пути на морской пляж посещают Сакское озеро, обмазывают грязью заслуживающую особого внимания часть тела, греются на солнце минут двадцать и лишь затем окунаются в морские волны (нередко, впрочем, ограничиваясь только озером). Я тоже обмазал пострадавшее в результате московского гоп-стопа плечо — дей-

ствительно, оставшуюся после всевозможных физиотерапевтических процедур ноющую боль как рукой сняло. «Следует ли оставлять в таком состоянии разрозненности три великих разнovidности опыта пассивности: опыт собственного тела, опыт другого и опыт модальности, которые вводят три модальности инаковости в плане “великих родов”?» — задавался вопросом П. Рикёр в завершение своей книги «Я-сам как другой» и приходя к выводу, что эта разрозненность полностью соответствует самой идее инаковости¹⁴. Вероятно, метатекст культуры тоже представляет собой систему таких инаковостей в соответствующем дискурсе.

Когда пришло время выступить с докладом, я, исходя из положения, что текст культуры может быть выражен как на «естественном языке» своего происхождения, так и на языках различных других видов искусств, предлагаю рассматривать крымский кинотекст как субтекст крымского текста русской культуры. Проследивая основные вехи его формирования на основе медиального движения от пушкинской Нерейды к набиковской Лолите, с пейзажем «Русской Ривьеры» посередине, благодаря фильму «За счастьем» режиссера Бауэра, ставшего учреждающим явлением крымского кинотекста, подобного поэме «Таврида» С. С. Боброва в литературе, я предлагаю такую рабочую формулу данного кинотекста: «Грудь Нерейды, ноги Лолиты»¹⁵.

По инициативе евпаторийского писателя Е. Г. Никифорова я также принял участие в презентации совместного проекта «Крымский текст сегодня: продолжение традиции». Основным содержанием вечера стало чтение Никифоровым избранных глав романа «Дом-музей», опыта карнавализации крымской литературной жизни, одним из персонажей которой стал и ваш покорный слуга (под именем *Непавич*, в основе чего стала обнаруженная в начале лета то ли авторская, то ли переводческая неточность насчет направления течений в Которском заливе, отмеченных в романе Милорада Павича «Ящик для письменных принадлежностей», на основе личного погружения и в роман, и в сам залив). Непавич — в паре с Непалычем, под прозвищем которого выступает наш влюбленный в Непал земляк поэт В. П. Зуев.

Жизнь на глазах переходит в текст, как в романах К. Вагинова в случае с Петербургским текстом.

— Правда ли, что название симпозиума заимствовано у вас? — спросила соседка на традиционном банкете. Я вспомнил о журнале с придуманным когда-то мной названием — «Крымский контекст», первоначально обратившим на себя внимание, но позже оказавшимся брендом для пытки гламурного книгоиздания любовных романов.

Тостуемый пьет до дна, или Медузы итога

Общим итогом поездки стало участие в VI-х Севастопольских Кирилло-Методиевских чтениях, организованных Севастопольским городским гуманитарным университетом на упомянутой турбазе имени Мокроусова, где предметом моего рассмотрения стало место крымского текста в цивилизации гламура

¹² Сыродеева А. Локальность и современники // Коллаж-2. М. : ИФ РАН, 1999. С. 14.

¹³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. : В 14 томах. Т. 9: Письма, 1820—1835. 1940. М.-Л. С. 369.

¹⁴ Рикёр П. Я-сам как другой. М. , 2008. С. 413.

¹⁵ См. : Люсьи́й А. П. Киноландия и киногоноцид: Крымский кинотекст как гламур и жуть // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 2(7). С. 71–83.



НАРРАТИВНЫЙ ПОВОРОТ / NARRATIVE TURN*ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY***| Гений места и гений текста |**

(на материале современного кинематографа, с фактически уже состоявшейся Переяславской кинорадой).

...В завершение летнего текстологического сезона по утрам медуз у западного побережья Крыма примерно столько же, сколько было змей на тропах Черногории в начале лета. Ни там, ни здесь укушен я не был. Остаются разве что глобальные угрозы и риски очередного века-волкодава, как и возможности их текстологических укрощений. «Такая диалектика, — пи-

сал П. Рикёр, — напоминает нам, что повествование образует часть жизни, прежде, чем отправиться в изгнание из жизни в письмо; повествование возвращается в жизнь сообразно многочисленными путями присвоения и ценой неодолимого напряжения, о котором мы только что говорили»¹⁶. Постоянно обновляющиеся словари самоописания — основной двигатель динамичной утопии открытого текста.

¹⁶ Рикёр П. Я-сам как другой. С. 198.

